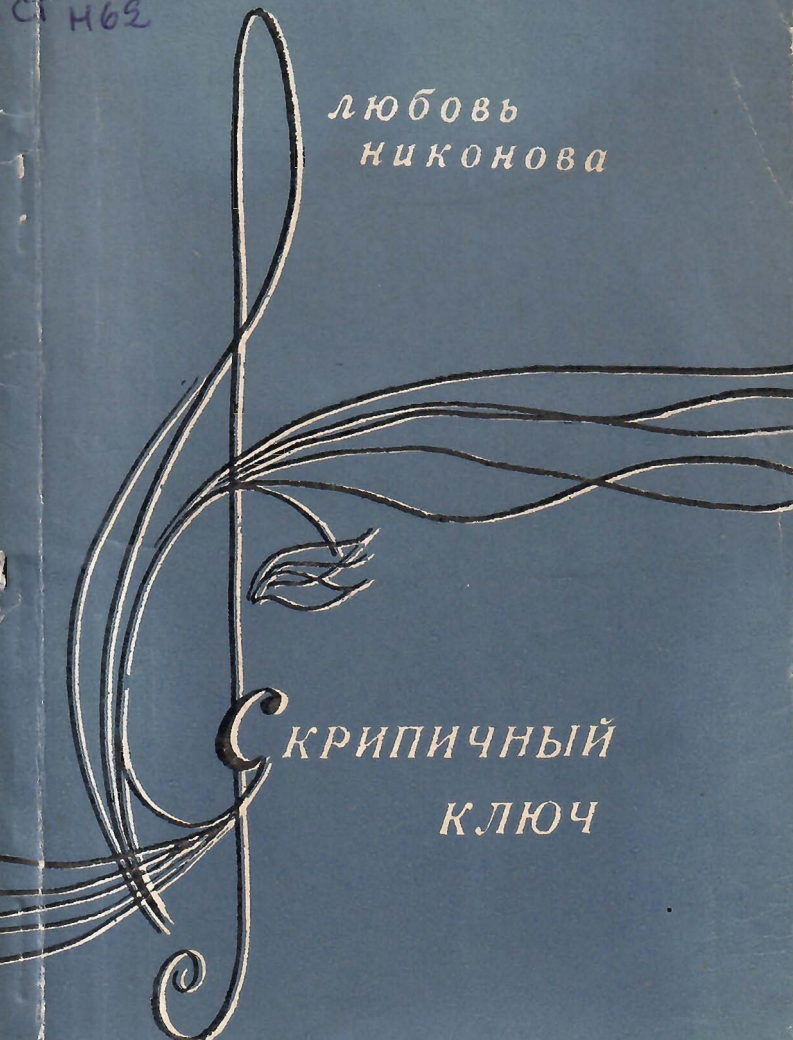
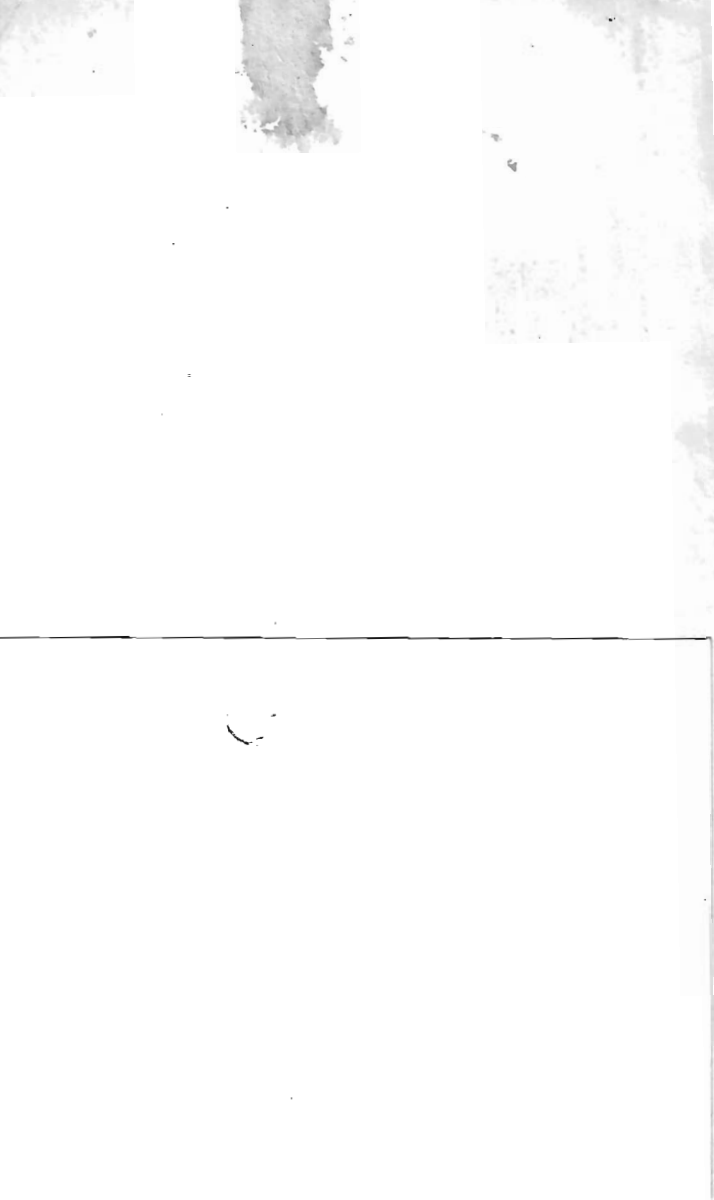


Р2
СТ Н62

ЛЮБОВЬ
НИКОНОВА



СКРИПИЧНЫЙ
КЛЮЧ



КЕМЕРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1974



*Любовь
Никонова*

*СКРИПИЧНЫЙ
КЛЮЧ
СТИХИ*

с Р 2
Н 62



✓
-12977-
✓

Н $\frac{0742-21}{M145(03)-74}$ -28-74

© Кемеровское книжное издательство, 1974



Помню первое знакомство с ее стихами. Вырванный из тетради листок, ровный старательный почерк. И — сразу поразившие ощущением какой-то внутренней раскованности, раскрепощенности строки: «Не знаю, что такое рай, я из числа разинь. Но ты о счастье мне играй, играй, мой клавесин!» Было там еще стихотворение «Тир» — о жестяном зайце в тире, который воскресает после каждого удачного выстрела и тем самым преподает «урок счастливого конца». Сейчас я уже отчетливо вижу недостатки этого стихотворения. Вряд ли эта кувыркающаяся после каждого выстрела игрушка может преподавать что-либо, кроме жестокости: натренируются как следует и пойдут с той же легкостью пасть по живым зайцам. Но тогда я запомнил другое — собранные, энергичные строфы, неожиданные параллели, сострадание ко всему живому, и — ту же самую свободу в обращении со словом, которая так редко встречается у начинающих и которая, если верить Блоку, одна только и есть признак настоящего таланта.

Потом был семинар молодых поэтов в Кемерове. Встала невысокая большеглазая девушка и начала читать. Как же она плохо читала! И стихи она выбрала не самые лучшие, и произносила их каким-то тусклым, безжизненным, лишенным интонации голосом! В общем, читала так, что дала повод кое-кому из присутствующих усомниться: да полно, ее ли это стихи, не чужие ли, потому как невозможно свои стихи читать так бесстрастно и вроде бы даже с такой неохотой!

Потом, в ответ на недоуменные вопросы, она скажет, что стихи должны жить сами; сами, без помощи чтения, искать дорогу к читателю. И она, мол, сознательно лишила их поддержки. Так в старину учили детей пла-

вать: бросят в воду — и пусть барахтается. Способ, конечно, варварский, но действенный.

А почему стихи слабые выбрала? А потому, что это ведь семинар, сюда пришли, чтобы вволю покритиковать друг друга. Вот и пусть критикуют. Да и ей важнее замечания, чем похвалы.

Одним словом, уже тогда, на первом взлете, Любовь Никонова знала себе цену и деловой разбор предпочитала комплиентам. В этом можно было углядеть некоторую браваду. Но мне это показалось (да и сейчас кажется) признаком силы.

Семинар дал в принципе верную оценку творчеству Любы Никоновой. Мы почувствовали, что в литературу Кузбасса пришел новый поэт, поэт со своим голосом, своей неповторимой интонацией, своим поэтическим миром. Рукопись, представленная ею на обсуждение, была рекомендована издательству в качестве основы для будущей книги.

И вот эта книга перед вами. Каков же он, мир Любы Никоновой, в который вы сейчас войдете? Сразу оговорюсь, что не собираюсь давать ее творчеству окончательных оценок — слишком это явление сложное, противоречивое, неустоявшееся. Кстати сказать, по-моему, «устоявшегося» творчества вообще не существует. Замечу только, что диапазон ее голоса достаточно широк. В нем находит себе место и тонкая, щемящая нотка одиночества, и глубокая языческая радость просто от полноты жизненных сил.

На семинаре ее обвиняли в сухости, рассудочности, недостаточной эмоциональности. А она считает любовь не просто чувством, объединяющим людей, для нее любовь — один из законов, на которых держится Вселенная! Именно любовь награждает ее даром с пронзительной силой ощутить кровное родство всего живого на земле: «И ветка, освещенная луной, на нас обоих, точно дочь, похожа!». Или еще: «И чем заметней надо мною власть, твоя, зеленый маленький листочек, тем ближе к жизни хочется припасть, и жить, и жить, благословив источник».

Мир Любы Никоновой музыкален. Не случайно в этой книге много чисто музыкальной терминологии, да и называется она «Скрипичный ключ». Но куда важнее другое: присутствие в ее стихах созвучий дерзких

и лукавых, основанных зачастую не только на внешнем, звуковом, но и на внутреннем, смысловом сходстве. Она рифмует, например, «темнея — подземелья», и некоторая звуковая «шероховатость» только подчеркивает смысл: в подземелье ведь должно быть темно! Точно так же рифма «грозовые — призывы» говорит не столько о похожем звучании, сколько о внутреннем родстве этих слов.

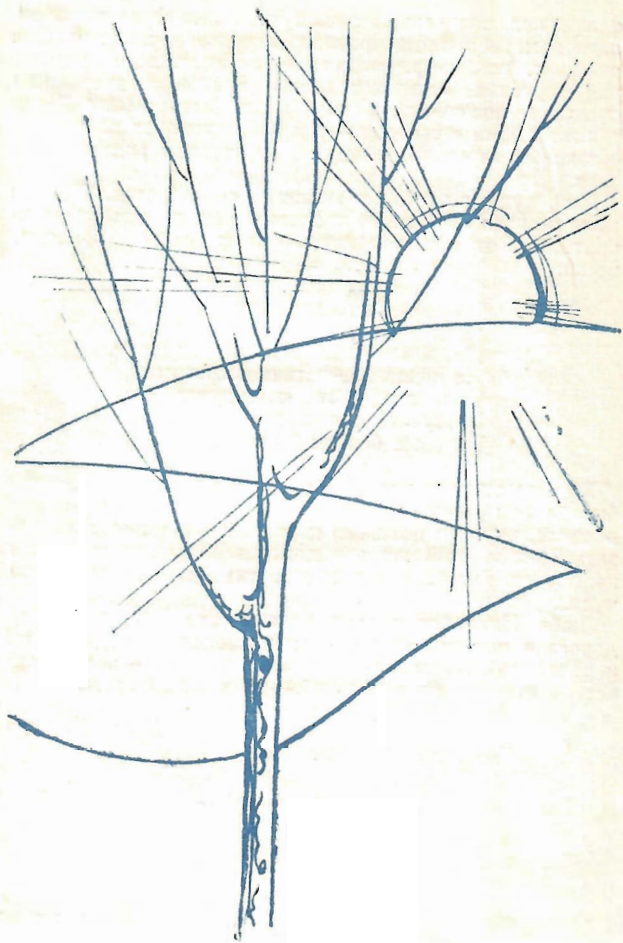
Мир, куда вы сейчас войдете, своеобразен. В этом мире вам, да и ей тоже, предстоит еще во многом разобратся. Вот так, например, в этом мире приходит весна:

Скоро, скоро цветы зацветут,
Из-под снега покажут головки,
И, дождавшись тепла, поползут
По завалинкам божьи коровки.
На дорогах, ведущих сквозь лес,
Там, где тени колышутся серо,
Зазвучат, достигая небес,
Голубые балеты Глиэра...

Хорошо это или плохо? Как звучат нереальные «голубые балеты Глиэра» на реальных, ведущих сквозь лес дорогах, рядом с божьими коровками? Не мое дело давать оценки, но меня эта дерзкая праздничная строка наполняет, как бы это поточнее выразиться, ожиданием чуда...

Люба Никонова только начинается. Думаю, что ее дорога в поэзии будет сложной, предельно трудной, но и радостной. Радостной не только для нее — ведь творчество процесс двусторонний, — но и для читателя.

Игорь Киселев



РОДИНА

Я помню руку ласковую, мамину.
Она простынку стлала под меня.
А родина была такой же маленькой,
как колыбелька детская моя.

Я помню двор: кричаще, ослепительно
шагали куры, выставив зоба,
а родина была уже вместительна,
как этот двор и русская изба.

И год от года, постепенно, исподволь
мир отдвигал все дальше рубежи,
и доверяла родина мне исповедь,
в которой все явления свежи.

И с каждым разом,
если что-то пройдено,
я думаю все чаще и ясней:
чем больше человек, тем больше родина,
а значит, и понятие о ней.

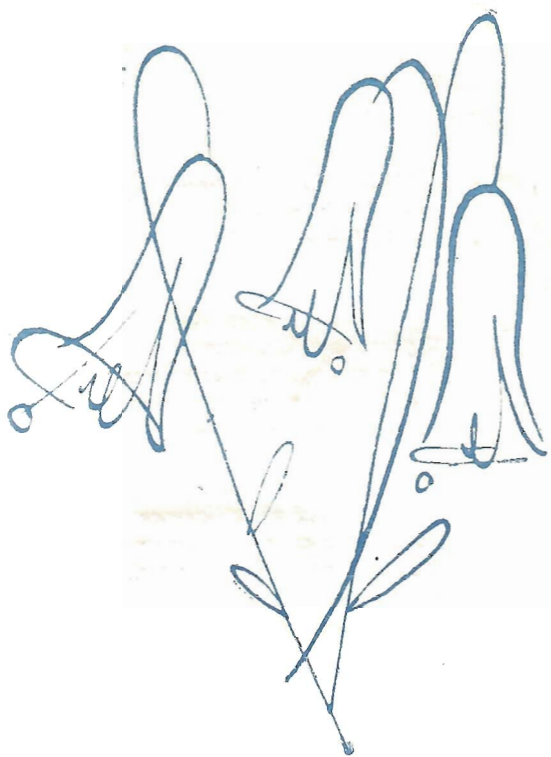
БУБЕНЦЫ

Бубенцы сегодня — миф и дым.
Оставляя звук в растворах почек,
за старинным лесом вековым,
кажется, растаял колокольчик.

Но я помню эти бубенцы
и, к другому подъезжая лесу,
слышу я, как птицы и птенцы
по старинке запевают песню.

Вижу ли церквушку на горе,
с городом ли новым повстречаюсь,
сад ли розовеет на заре —
это бубенцы звенят, качаясь.

Чьи-то слезы,
очи в пол-лица,
тополиный шелест над крыльцами —
все имеет привкус бубенца,
все, что рождено под бубенцами.



НОСТАЛЬГИЯ

Меня пленили эти краски.
Экзотика волнует нас.
Боюсь, что будет слишком кратким,
боюсь, что кончится сеанс.

И ухожу в чужие страны.
Бродяжий дух воскрес во мне
своей приверженностью странной
к ежеминутной новизне.

Не помышляю возвращаться
к знакомым скромным берегам,
где серый дом стоит дощатый
и раздается птичий гам.

Тускнеют ивы и печальна
их отдаленная краса,
когда роскошествуют пальмы
и упираются в глаза!

И садик тетки Пелагеи
едва ли вспомнится, едва,

когда, в полнеба пламенея,
стоят под солнцем острова...

Но что же это?
Что же случилось?
Звучат родные голоса.

Душа по ним истосковалась,
в кино за полтора часа!

МОСТ
ЧЕРЕЗ САМАРКУ

Из города мне надо ехать
в другие, в сельские, места..
А над Самаркой виснут сверху
обломки старого моста.

Пишу письмо и клею марку:
«Я близко, мама.
Грусть остра.
Не переехать мне Самарки,
коль нет через нее моста».

Но пассажиров здесь немало.
И выход есть. И выход прост:
установили на Самаре
понтонный мост.
Понтонный мост.

Теперь бы только взять багажик —
и все тревоги разрешишь.
И лишь бы связанные баржи
под колесом не разошлись.

Чтоб не нырнуть, не захлебнуться,
не крикнуть в пузырях:

— Спаси!..

А просто в отчий дом вернуться,
живое тело принести.

Там ждут его давно и долго,
оно всего дороже им.

Не потому ль к родному дому
трудней дорога, чем к другим?

Уходит в Тотьму пароход.
Сверкнув последний раз,
он поднырнул под небосвод,
растаял,
скрылся с глаз.

Десятки, тысячи судов
снуют туда-сюда,
везде, где им простор готов,
везде, где есть вода.

Они гудят, с землей простясь,
но я в ответ молчу,
я не хочу на них попасть —
я лишь на тот хочу.

А выбор дьявольски богат.
И публика пестра.
И каждый встречный — будто брат,
а встречающая — сестра.

И в самолетах, в поездах
и по краям телег

мне не отказано в местах,
смешной я человек!

Подкатит «Волга» во всю прыть,
и подрулит мопед.
И только там, где хочешь быть,
конечно места нет.

-12977-



* * *

Девяносто двух телят пасу в низине.
Вряд ли где-то помнят обо мне.
Лишь буханка черствая в корзине
Говорит о доме, о семье.

Подгоню своих телят к речушке
потихоньку, не во всю, конечно, прыть.
Наберу на отмели ракушек,
буду раков к ужину ловить.

От костра дымок исходит сладкий..
Хорошо ютиться на земле!
Темные коричневые раки
красными становятся в золе.

Виден строгий силуэт овчарки —
ужин я готовлю на двоих.
За год подрастут мои телятки.
В будущем возьмусь пасти других.

В цветении акации есть прелесть
широкой среднерусской полосы,
какая-то лиричная напевность
последних дней, счастливых дней весны.

Зачем среди людского океана
так часто привлекаешь ты меня,
притягиваешь ласково и тайно,
цветущая акация моя?

Да, знаю, как цвела ты у крылечка,
как пахло там тобою и травой
и гибкий куст корова каждый вечер
бодливой задевала головой...

И дело тут совсем не в ностальгии,
случайно охватившей на бегу, —
без этого крылечка я России
представить себе даже не могу.

СТАНЦИЯ АКСЕНОВО

На станции Аксеново потемки,
шумит буран и ставнями гремит,
а в «Доме для приезжих»
одинокое
мое окошко тусклое горит.

Гостей тут нет.
В скрипучем этом доме —
холодный мрак и не видать ни зги.
Висят на всех дверях соседних
комнат
тяжелые амбарные замки.

Лишь сторожиха старая спросонок,
татарка в чесанках, пробормотала
мне:

— Что, думаю, такое,
что за шорох?
Нечистый дух крадется, Шурале?

Хохочет кто-то под тесовой
крышей:
как будто защекочен колдуном...

В холодных кладовых скребутся мыши,
а дом все ходит, ходит

ходуном.

О, эта одинокость в непогоду,
нетопленные печи, вой и визг,
и этот подступающий к порогу
пронзительный нечеловечий свист!

И за свиданье с кем-нибудь знакомым
(хотя от всех теперь отдалена),
за миг общенья —
вместе с этим домом
я Шурале бы душу отдала!

Но боем ударяет в перепонки
часов старинных ржавый барабан.
На станции Аксеново потемки,
на станции Аксеново буран.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПОЕЗДКА

Не очень большая утеха —
все те же дома и углы.
Мне очень хотелось уехать,
ан власть обстоятельств, увы...

Но странно: на улице прежней,
сроднившись и свыкнувшись с ней,
я вижу: она посвежела
и стала как будто новей...

И кажется мне: порывают
друзья с деловой суетой,
— С приездом! — меня поздравляют
и встретиться рады со мной.

А я до сих пор созерцаю
под сбивчивый их разговор,
как елки синеют зубцами
по склонам сиреневых гор...

И будет так длиться и длиться,
пока я не съезжу туда,
откуда должна возвратиться
испытанно, снова — сюда.

Бабушка, вы помните меня?
Помните, как осенью сырою
грелась я у вашего огня,
угощаясь пирогом с морковью?

Это было много лет назад.
Но всегда в дождливую погоду
вспоминаю тот огонь, рюкзак,
сумрачную темную природу.

Вспоминаю лодки на волне
там, где Томь угадывалась мутно,
и тогда неясно было мне,
то ли это вечер, то ли утро...

Вспоминаю сизоватый пар,
исходивший от промокшей куртки,
и горячий травяной отвар,
и пахучесть деревенской булки...

И над всем над этим, у огня,
с потускневшею ссрьгою в ухе,

весело глядела на меня
молодая голова старухи...

Пусть мне скажут, что земля пуста,
что враги друг другу человеки —
усмехнусь на злобные уста,
не поверю клевете вовеки.

И опять, как много лет назад,
возле печки, что пылает жарко,
я увижу мокрый свой рюкзак,
из которого торчит боярка...

И лица приветливого свет,
путники, со мной благословите.
Бабушка, вы живы или нет?
Бабушка прекрасная, живите!

ЧАСТОКОЛ

Случайная, как шорох, радость,
нам не особенно важна,
и частокольной оградой
у нас душа окружена.

Но лунный луч
на снежной ветке,
и глаз испуганный зверька.
(засохла кровь на верхнем веке)..
и чей-то «взор из-под платка»

мелькнут по выступам ограды,
займется дрожью частокол —
и для случайности мы рады
забыть себя и свой покой.

Мы лунный луч кладем на коврик,
лекарством пичкаем зверька
и заплатить готовы кровью
за чей-то «взор из-под платка».

И невдомек нам, бедным смертным,
что частокол хваленый наш
был безнадежно эфемерным,
как захудаленький мираж!

КОЛОКОЛ

Заря пришла, и тусклые дворы
наполнились сиянием рассвета,
и оттого исчезли фонари,
источники искусственного света.

Она пришла, как первая любовь.
И колокол безмолвный закачался,
и языка обрывок вновь и вновь
в его глубоком зеве трепыхался.

А вдалеке молоденький басок
летал над миром, похваляясь силой,
сопровождая каждый свой бросок
мелодией бессмысленной, но милой.

И колокол тяжелый свысока
глядел бессильно, мрачен и рассержен:
мне есть о чем сказать —
нет языка,
он — пустозвон,
но как язык подвешен!

ЗАГАДКА ГАМЛЕТА

Не занимать былым векам отваги,
их гордый дух нисколько не ветшал,
но почему-то принц уколом шпаги
вопросов наболевших не решал.

И призрачная тень его мелькала
по каменным дворцовым тупикам,
оконные решетки из металла
прислушивались к сумрачным шагам...

Так кто же он: философ ли бессильный,
убийца, трус, бестрепетный герой?
Иль мученик жестокой рефлексии?
Иль просто — заблудившийся слепой?

Окончен древний век турниров конных,
клинков кровавых, принцев и принцесс.
Все чаще рядовой кинематограф
показывает людям горы, лес.

И вот, попав в замедленную съемку,
осенний лист иль стебель камыша

так плавно наклоняется в сторонку,
что замирает перед ним душа.

Показан он почти как нереальность,
как чудо уникальное, как сон,
как благодать, в которой грусть и радость
объединил особенный закон.

Природа, покоренная природа!
Ее не так уж трудно погубить
со всеми тайнами и временами года...
Так как же быть?
И быть или не быть?

И мы уже нарочно замедляем,
как объектив, свой зоркий взгляд на всем
и семечко на память оставляем
от яблока, которое грызем...

А по Шекспиру составляют гамму
разноречивых выводов умы.
Но если все-таки еще проблема Гамлет,
то чем же будем для ученых мы?

ТИР

Дощатый домик на дорожке,
внутри — война,
снаружи — мир,
а дети хлопают в ладошки
и громко радуются: тир!

О бедный заяц!
Мрачным днищем
Над ним скоробился навес...
Но, сам тому же удивившись,
зверек расстрелянный воскрес!

В него бессчетно попадали.
Перевернется — жив-здоров.
Он жил за всех собратьев дальних,
погибших средь степных бугров.

За белых зайцев, за пятнистых,
на мушке, в метре от ствола,
он поднимался, дерзок, истов:
еще раз — р-раз!
еще раз — два!

За всех, в кого вонзились вилы,
кого настиг заряд свинца,
преподавал Косой впервые
урок счастливого конца!

* * *

Когда началось это странное действо —
как солнцу от ночи безлунной,
простой поворот к немудреному детству,
усиленный волей разумной?

Предстань изучению,
природа поступка!
Зачем мне тропинки пастушек?
Зачем я ищу под личинкою звука
простецкую прелесть частушек?

Наверное, правда,
что, жизнь усложняя,
мы тайно тоскуем по роще.
И слыша, как щепчет осинка живая,
становимся проще и проще...

И грустные мысли на время оставим,
не помня минувших несчастий,
когда ничего — только рядом с асфальтом
кусочек земли настоящей.

ЛИСА

Блестела светлая листва.
Трава — волна к волне.
И вышла из лесу лиса
бесхитростно вполне.

Укрывшись в тень молодняка,
пальнули в мех лисы
два желторотых паренька
и бок ей разнесли.

Как незабвенна эта кровь
погубленной лисы!
Спаси меня, моя любовь,
от крови той спаси!

Не я, клянусь тебе, не я!
Я неповинна в том,
что погрузилась в кровь земли
разбухшим животом.

Я не способна убивать.
Но посреди весны

Стоит лиса, стоит опять —
и я страшусь лисы.

Она на светлый лес глядит,
раскрывшийся пред ней,
и не боится, не винит
своих убийц — парней:

«Да, мне не жить, не обонять,
не подбегать к стволам,
но вам друг друга обвинять,
Бояться — тоже вам!»

* * *

Окончен день,
на всем лежит усталость,
темнеют краски,
меркнет белый свет.
Но в шесть утра
часы для нас ударят —
и вновь начало жизни и побед!

Я знаю,
каждый делает работу,
с которой жить на свете повезло,
за этим делом до седьмого пота,
годами выкорчевывает зло.

Но зло жувуче, зло не хочет плахи,
и вновь и вновь, с зари и до зари,
пластами выворачивает пахарь
изнанку изначальную земли.

И женщина стоит у обелиска,
глаза ее страдания полны,
как будто бы разглядывает близко
истоки и последствия войны.

И молодые пальцы пианиста,
как пули,
пробивают на лету
корявую, срывающую листья
ручищу зла,—
спасая красоту.

И, проступая меж деревьев четко,
застряв в лесу на целые века,
выращивает щуплого зайчонка
дремучая избушка лесника.

Проходит день,
он труден и удачен.
Смотрите:
ночь
и отдыхать пора.

Но помните, что он опять назначен,
наш общий сбор
на шесть часов утра.

* * *

...И вновь нависла хмарь над лесом,
и ветер ломится в стекло.
Хочу, хочу хороших песен,
от них становится светло.

И чем светлее, чем прекрасней
расцвет земли и солнца луч,
тем поразительно контрастней
кривая молний среди туч.

И чем светлее, чем прекрасней
жизнь человеческой души,
тем неестественней, ужасней
в сравнение с нею палачи.

В какую тьму они уходят,
в какую зверскую резню,
оставив при своем исходе
на пепелище головню?

А после боен, после рубок,
врываясь в рот, как в темный сруб,

смягчает песня заскорузлость
и сухость постаревших губ.

И все теплее, все нежнее
она старается опять
освободить от сожалений,
утешить, вылечить, обнять.

...И вновь нависла хмарь над лесом,
уж востром листья снесены.
Но человек — создатель песен,
и верит в песни он свои!

Как терпкие и горькие настои,
последние волнения любви...
Когда жалеть не надо и не стоит,
я говорю: сжигайте корабли!

Прощай же, заблужденье затяжное...
И вдруг — нельзя,
совсем нельзя уйти!
И слабое создание живое
не исчезает с вашего пути.

Да, сильного оставить было б просто
в печальный день отлета журавлей,
но слабого,
но маленького бросить...
Я лепечу:
не жгите кораблей...

Каким бы ни казалось вам несчастьем
возиться с тем, кого вам только жаль,
из сострадания при себе оставьте
заблудший неприкаянный корабль.

К окошку,
к шторе опущенной
прильнет,
не коснувшись рам,
любимая вами
Бегущая,
Бегущая по волнам.

Она возвращается свежестью
в жизнь,
где царит застой,
прелестью безмятежною,
помощью,
красотой.

Но, сделав дело посильное,
она убегает прочь,
и зря эгоисты счастливые
ее не пускают в ночь.

В окрике
стерегушем
и сила,

и власть,
и страсть:
— Бегущая!
— О, Бегущая!
— Бегущая-а!
Унеслась.

Ни чувствами,
ни словами
Бегущих
не вернуть.

Они возвращаются
сами,
когда без них не прожить.

* * *

В вчернем воздухе так пристальное
свечение тихого сельца...
...Там у заборчика на привязи
оставил кто-то жеребца.

Когда совсем сгустились сумерки
и скрыли дровни и коня,
пацан проказливый и умненький
вдруг выпрыгнул из-за плетня.

Не знаю, почему, но сразу же,
как соучастники, мы с ним
переглянулись понимающе
с лукавым замыслом одним.

В повозку сели мы и тронули!
Село осталось позади,
лишь вился узкий след за дровнями
да кто-то крикнул:
— Погоди!

Когда не привлекают внимания
ни лес, ни люди, ни река,

волнуй меня, воспоминание,
об этом беге рысака!

О вопиющем своеволии,
о похищении коня,
об этом мальчике, с любовью
глядевшем сбоку на меня!

Проснулась я от качки.
Наш вагон,
залитый слабым, бледно-желтым светом,
кидало в стороны,
и, как игрушка, он
летел почти по воздуху при этом.
А за окном свинцовый купол тьмы
был так непроницаем, так огромен,
так слит с безмолвной тяжестью зимы
и так окоченело неподъемен,
что жутко было в эту ночь лететь
в качающемся тоненьком вагоне
и так легко казалось умереть
не по своей — по чьей-то чуждой воле!
Лишь временами тусклый огонек,
фонарь, зажженный на ночь человеком,
превозмогал потемки и, как мог,
светил во тьме, свисая над кюветом.
Валились где-то толстые столбы
(их провода, крутясь, перемешались),
и пучились вулканы, как горбы,
и воды под землей перемещались.
А он светил, тревожный огонек,
заботливо, участливо, открыто,
он путникам показывал, как мог:
«Обжито здесь, товарищи, обжито!»



Скоро, скоро цветы зацветут,
из-под снега покажут головки
и, дождавшись тепла, поползут
по завалинкам божьи коровки.

На дорогах, ведущих сквозь лес,
там, где тени колышутся серо,
зазвучат, достигая небес,
Голубые балеты Глиэра.

Возрождение, ты свойственно всем,
кто живет, ошибаясь и веря,
ты ведешь неизбежно к весне
человека, и птицу, и зверя.

Вот и я на пороге весны...
Я предчувствую: рядышком, близко
так нежно нагнетанье листвы,
будто это играет флейтистка...

Темным краскам я дань отдала.
Пусть простят меня добрые люди,
если мрачной и хмурой была.
Темных красок больше не будет.

Зазеленел и пробудился лес,
и, подчиняясь шуму вод и гулу,
послушно заиграл в ответ оркестр
торжественную увертюру.

За годы, что на свете провела,
весенних дней видала я немало,
и всякий раз, в любые времена,
торжественная музыка звучала.

И всякий раз волшебник дирижер
с загадочною палочкой своею
то приводил в неистовство рожок,
то увлекался вдруг виолончелью.

Опять люблюсь этим мудрецом —
и наша жизнь отнюдь не скоротечна,
и в воздухе прозрачном
со скворцом
легко парит певучая скворечня.

И, как перстом, указывая путь
по островкам цветной земной палитры,

взлетает палочка на дирижерский пульт,
потом перелетает на пюпитры.

Весна и жизнь, несите вдаль меня.
На ваших нотах ярко пламенеют
великих музыкантов имена,
и ваш оркестр фальшивить не умеет.

Это время придет и законы свои
установит над миром всеильно и вольно,
и бессмертья достигнут народы Земли,
уничтожат кровавые распри и войны.

Наши мелкие скорби сотрутся совсем,
гармоничное общество бед не допустит
и для новых творений, для новых поэм
светозарные, вечные краски добудет.

Но останется что-то тем людям от нас,
как звезда остается под утро от ночи,
и в космической прелести будущих глаз
отразятся и наши древнейшие очи.

Ах, Земля, это птицы летают твои,
возрождаются старые формы из праха,
и сливается космос в бескрайней дали
с фа-минорной хоральной прелюдией Баха.

И в живом представленье далеких людей
мы реальны, поскольку до них мы доносим

синеву наших волн, белизну лебедей
и цветущую зелень бушующих весен.

Не исчезнут в кипенье миров без следа —
лишь ветвями другими замснятс я ветви.
Только зло на Земле отомрет навсегда,
а прекрасное будет прекрасно вовеки.

УТЕШЕНИЕ

Ни чувства в глазах, ни мысли.
Душа твоя будто нема.
А прошлые встречи?
А письма?
Так-то ты помнишь меня?

Звучит «Утешение» Листа.
Утешься, актовый зал!
Сегодня, сидевший близко,
в приветствии друг отказал.

Возможно, так-то и лучше —
и мне, и ему, и всем...
Соседка шепнула: «Слушай,
слепнет твой друг... совсем».

Звучи, «Утешение» Листа,
и мне, и ему, и всем...
Надежд никаких почти что,
и чем я утешусь, чем?

Все то же мне остается:
извечная боль Земли,

старинная тяга к солнцу
.. и та же мольба к любви:

«Любовь, побег тополиный,
от зрячих к незрячим тянись
нитью зеленой и длинной,
имя которой — жизнь».

* * *

Там, где веселie царит,
где вьется серпантин,
под фортепьянной маской скрыт
старинный клавесин.

Не знаю, что такое рай.
Я из числа разинь.
Но ты о счастье мне играй,
играй, мой клавесин.

Взлетают пробки к потолку,
горят шары, огни.
А ты играй — я помогу,
ты только намекни!

Уверь меня, что этот блеф
(мираж, минута, миф?..)
частично сохранит свой блеск
в обычных днях моих.

Уверь, что не великий риск,
коль маску сбросить вдруг:

ведь там, под ней, не рев, не рык,
а чистый-чистый звук?

В мир откровений проникай,
в мир творческих вершин.
О, никогда не замолкай,
играй, мой клавесин!

* * *

Не все в этом вечере гладко,
и к сердцу не все прилегло,
но с нами была музыкантка —
и значит, нам было легко.

Тебя рядом с ней беспечно
куда-то, как к небу, несло.
Что делать!
Она музыкальна,
а музыка выше всего!

Впервые, быть может, впервые
ценить научилась я их,
прекрасные, хоть и чужие,
те чувства, что выше моих.

ПРЕКРАСНЫЕ МЕЛОДИИ

Мне говорят, что все на свете к лучшему.
Я не желаю ввязываться в спор.
Но музыку, которую мы слушали,
мне почему-то жалко до сих пор.

Она была большой и неустанною
в течение многих, очень многих дней,
но, не желая поминать про старое,
теперь я не имею дела с ней.

И только раз,
упорство сердца пробуя,
послушала я вновь виолончель.
Какое счастье
и какое горе!
Зачем опять все это мне?
Зачем?

Измерив все, что было, чего не было,
заполнив уши, губы и глаза,
она меня дразнила,

она пела:

— Иди сюда!..

А мне туда нельзя...

Ведь наша жизнь, серьезная и властная,
зовет вперед, зовет к другим делам.

Простите же, мелодии прекрасные,
что я так редко обращаюсь к вам.

ЦЫГАНОЧКА

Плясала ты цыганочку.
Какой момент!
Цыганочка, цыганочка,
хочу в «Ромэн»!

Пляши, пока есть мужество
ждать перемен.
Ты пляшешь, как Жемчужная?
Ромэн!
Ромэн!

Ты утверждаешь, милая
цыганочка,
без карт:
случайное все —
мимо,
а впереди — театр!

И плачется, и верится...
Гремит серьга.
В грядущем зале вертится
цыганочка,
цыга...

Но, разлучая с небом,
мать восклицает:

— Зин!

Беги скорей за хлебом,
закроют магазин.

КАЗАЧОК

После встречи тяжелой и последней
кто-то — и, видать, не новичок —
заиграл на лавочке осенней
беспечальный танец казачок.

Раз-два-три!
Казачок!
Казачок!
Сгоряча
я пустилась в этот танец,
головушку очертя.

Лишь взвивались
к небу ветки
вместе,
врозь
и
вместе, врозь!

То, что было —
было, нет ли —
унеслось,
не унеслось...

Люди,
лица,
люди,
листья,
все сюда,
скорее
вы!

Я хочу
повеселиться
в ритме ветра
и листвы...

Будто с детской скакалкой
и с презрением к тоске,
и с жар-птицей самой жаркой
в ослепительном броске...

Казачок, казачок,
жизнь прекрасна опять,
ни о чем, ни о чем
не хочу горевать...

И мне вторил, вторил ясно
во всю мощь аккордеон,
и вся улица плясала:
с глаз долой — из сердца вон!

Только небо голубое,
только танец казачок.

Почему же, что такое —
он играл, и вдруг молчок?

А?

А...

А!

Это ты!

За тобою —

ни зги.

Умира...

Казачок!

Э-э-эй!

Помоги!

МАЛЬЧИК СО СКРИПКОЙ

Мы ехали, выйти готовясь,
а с улицы, скользкой и липкой,
вскочил в многолюдный автобус
маленький мальчик со скрипкой.

Стояли люди уныло,
в себя уйдя, как улитки,
им в эти минуты было
совсем, совсем не до скрипки.

Футляром костюм задело —
косились с досадой скрытой,
и мальчику здесь надоело.
И вышел мальчик со скрипкой.

А все же у каждого было
нечто, в чем боль и песня,
и что-то нам говорило
в том автобусе тесном,

что так же, отчаявшись мчаться
с нами по осени зыбкой,

исчезнет летуче счастье,
как этот мальчик со скрипкой..

Исчезнет, помедлит немножко,
мигая далекой улыбкой,
и вскочит опять на подножку,
как этот мальчик со скрипкой..

ДВА МАРША

Он примирял со всем, что есть на свете.
В сухой траве состарился шалаш,
живых людей песком засыпал ветер,
но оставался ровным этот марш.

Не накален, но светел, похоронный,
не по нему ни натиск, ни нажим.
И потому стихали в небе кроны:
он примирял живое с неживым.

И был другой
Он победить стремился,
сверкали трубы, и в пылу борьбы
непримиримость выражали лица,
бежали ноги, сталкивались лбы.

И весь он, динамичный и подвижный,
пружиною раскручивался ввысь,
желая всем, кто любит радость жизни,
преобразить весь мир в сплошную жизнь.

Не признавая, что его не будет,
он смешивался с ливнем и листвой...
Односторонен?
Как хотите, люди.
Коль выбирать,
я выберу второй.

ОРКЕСТР ИГРАЕТ ЧАЙКОВСКОГО

Старинный,
обычный,
новый,
ветром времен истлестанный,
снова,
снова
и снова
оркестр играет Чайковского.
Оркестр играет Чайковского!
Все выше звучат аккорды,
все шире дерезья расплескивают
кроны свои и корни.
Все больше во мне напряжения.
Взыскательней стала жизнь.
Чувства мои сложнее,
мысли мои сложнее,
дело мое сложнее,
сложнее жду и надеюсь.
Ведь в нашей пестрой реальности
есть не только добро.
В явлениях ее растворяюсь,
как в воздухе птичье крыло.
И с детской щемящей беспомощностью,
со взрослостью беспощадной
оркестр играет Чайковского,

тихий,
потом ураганный!
И там, где мне трудно было,
и там, где мне хорошо,
там, где меня любили,
там, где меня забыли,—
Чайковский!
Еще и еще!
Да будет так же и дальше,
чтоб вечно меня несла
то холодно, то паляще,
то сдержанно, то звеняще:
музыка — как весна!

СОНАТА

Запомним первый снег:
в тот час
на нем еще не наследили
и никакие узы нас
пока что не соединили.

Но кромка тонкого ледка
уже чуть-чуть землей согрета,
и страсть затеплилась слегка
сквозь инфантильность аллегретто.

Потом она своим путем
достигла боли неизменной,
заполнив все,
нашлась во всем,
свой путь продляя постепенный.

И лица все кругом слились
одно с другим неразлично,
и различима только мысль:
«Люблю. Тебя. Неизлечимо».

Но полномочие свое
сложила боль. Ей надоело.
И мне не утвердить ее,
хоть я привыкла, чтоб болело.

О нет! — сказала эта боль.
Ей жить во мне — не то пространство.
А я влеку ее с собой,
Я ей диктую постоянство.

Любой ценою, как-нибудь
живи во мне и разрастайся,
убей меня, но только будь,
пусть я умру, но ты останься!

А так развязка коротка,
так изумление недолго..
Как два удара молотка —
два заключительных аккорда.

Но дополнительную боль
они мне сообщить не в силах,
два взгляда, брошенных тобой,
опустошенных и бессильных.

Ничто не может перекрыть
того, что раньше наболело,
когда на скатах темных крыш
зима впервые забелела...

Но в наступившей тишине
вновь, как на память, как когда-то,
как свет в полночной вышине,
возникла «Лунная» соната.

Осенний день.
Раздвинулись деревья,
открыв прямой сияющий проспект.
Не в первый раз,
о, далеко не в первый,
я прихожу сюда за много лет.

Отбывших вдаль
я здесь уже не встречу,
но мысль о них упорна и жива.
Я вспоминаю их
все ярче,
резче,
когда летит
невесть куда
листва.

А то, что здесь,
встречаются порою
в богатстве новшеств,
разных перемен.
Им каждый раз
здороваться со мною
как будто бы не хочется
и лень.

Я не в обиде.
Кто в отъезде, даже
при всем расположении ко мне,
будь здесь они, вели себя бы так же
и равнодушны были бы вполне.

Издалеку же
их прозрачный голос
проходит сквозь осеннюю листву —
и я волнуюсь,
я люблю их, может,
а может, презираю — не пойму.

ШЕДЕВРЫ

Минувшие дни невозвратны,
весна летит за весной...
Но видели вы реставратора,
склоненного над доской?

Снимая с нее наслоения,
рисунки поздних времен,
он долго отыскивал гения
под шелухою имен.

Стили, краски смывая,
искал он заветный перл.
И вот она — как живая,
икона, древний шедевр.

Не так ли любовь?
Снимите
с нее наслоения лет:
первая — изумительна,
и больше шедевров нет.

СТРЕКОЗЫ

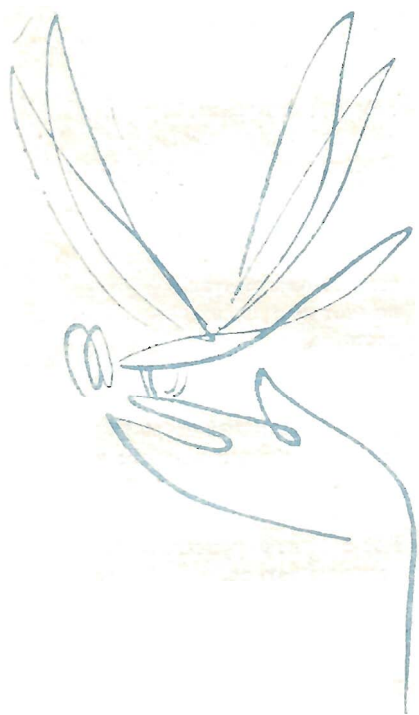
Последние осенние стрекозы
приткнулись на развилине ствола.
У них у всех дрожали от мороза
два тонких неустойчивых крыла.

Я их брала забывшихся, застывших,
сквозь крылья их смотрела на тебя.
Твое лицо, чудесно исказившись,
вмонтировано было в тополя.

О, солнечные трепетные краски,
расплывшиеся в крылышках стрекоз!
Я знаю, что вы были не прекрасны —
вы были приукрашены насквозь.

Но иногда, затосковав от прозы
разумных мыслей, четких, как компас,
обманчивые, светлые стрекозы,
я вспоминаю почему-то вас.

И иногда бы тихо попросила,
чтоб так же, как тогда, светло-светло,
еще хоть раз глаза мне застелило
прозрачное дрожащее крыло.



БЕЗДОМНЫЙ КОТ

Мороз, как музыка, звучал.
Аккорд! Еще аккорд!
Всю ночь на лестнице кричал
кричал бездомный кот.

Ах, каждый наконец достиг
тепла, о чем мечтал,
но этот исступленный крик
настойчиво мешал.

И кто-то наконец молчком
(довел, несносный зверь!)
тарелку с теплым молоком
тут выставил за дверь.

Кот все равно кричал, но суть
поступка такова,
что с чистой совестью уснуть
легко, как дважды два.

Под утро сделалось жильцам
не в меру как легко:
на всех площадках, тут и там,
стояло молоко!

* * *

Пока что бессмысленно бредить травой.
Сейчас очень холодно здесь.
Тебе полушубок,
и мне таковой,
и можно тулуп, если есть!

Ах ты, милый мой тулуп,
петли узеньки,
не видать ни глаз, ни губ,
только усики!

Затесался ты в народ,
близок, да не с нами,
только тот тебя найдет,
кто и сам с усами.

Эх!
И правда что так, и правда что «эх».
Мы люди, мы очень чудны:
одно изберем — и не видно нам всех,
и сами себе не видны.

И пусть мне накинута платок на глаза,
на этом снегу и на льду
упорно и ловко хитря и скользя,
тебя и не видя найду!

* * *

Ты напрасно боишься,
Ты прячешься зря
За причудливость слов,
За тактичность и мягкость.
Никогда и ни с кем, по душам говоря,
Я так горько еще не смеялась...

Закаленному сердцу средь вечных потерь
устоять и остаться собою нетрудно.
Между многих дверей есть особая дверь,
и особые люди — в толпе многолюдной.

А коль нет,
то травинка утешит меня,
ветер волосы встреплет, прекрасен и буен,
ибо правду приемлет и любит земля,
а вот ты после лжи своей,
ты-то как будешь?

Взошли цветы, поля зазеленели,
но в перелесках снег еще лежал
и в тех местах, где ручейки звенели,
темнел, переливался и дрожал.

И прошлогодние стога в полях стояли,
желтея на снегу и на траве,
и небеса роскошные сияли
у тех стогов на самой голове.

И, утопая в воздухе чистейшем,
блистая белой кожей сквозь него,
березок стайки, будто группы женщин,
склонялись у воды легко-легко...

В потоках воздуха они перемещались,
а там, где позже быть должна листва,
молекулы и атомы вращались,
сливаясь, превращались в существа...

И жизнь рождалась и в дерзание смелом
могущество предвидела свое.

Земля! —

вот то, что вечно мы имеем,
все остальное — производные ее.

* * *

Зачем так печально, когда я дремала
в палатке якутов, хранителей стад,
любовь моя форму тоски принимала
и тайно меня отзывала назад?

Трещали дрова в раскаленной печурке,
и мясо оленьё варилось в ведре,
и пулями щелкали ветки и чурки,
и десять лепешек пеклось на золе...

Мохнатая лайка, совсем молодая,
обнюхала шкуры, в палатку войдя,
и ясно взглянула, вполне понимая
значение бульканья в брюхе ведра...

Потом возвратились на нартах якуты.
И вечер настал. Засветили свечу.
На ящик пустой положили продукты
и сели, плечом прижимаясь к плечу.

Я тоже сидела в кругу этом тесном,
а в прорезь палатки светила звезда,

и тихо вливалась в якутскую песню,
и с ней оставалась в душе навсегда.

Меж тем, назревая, ночной холодина
уже постучался к нам несколько раз...
Вокруг небольшого жилища ходили
олешки и хлеба просили у нас...

И в доме моем, неизвестном доселе,
и в новой семье, среди братьев моих,
заботы о ягеле и об оленях
меня волновали не меньше, чем их.

А память о прошлом уже остывала,
и это на Севере можно понять...
И только когда я опять задремала,
опять стало грустно, и больно — опять...

* * *

Я не могла тогда еще отвлечься
от образа оставленной любви.
Под скрип полозьев, зазывая в вечность,
мне из-под снега пели соловьи.

Летели нарты, а в руках каюра
играл, взмывая, небольшой хорей,
и соловьиная моя клавиатура
на поворотах бряцала: скорей!

И вдруг упал один олешек правый,
попал под нарты шеею крутой
и с выступившей пеною кровавой
поник своей прекрасной головой.

И он лежал в снегу, весь мир отринув,
лежал, не напрягаясь, не хрипя.
И пар вздымался с ледяных тарынов
в отрогах Верхоянского хребта.

Суровая природа окружала
морозным солнцем свечечки стволов

и, кажется, безмолвно осуждала
моих незимовавших соловьев.

И вот на место павшего оленя
впряжен был новый, запасной олень,
и снова наши нарты полетели,
и так они летели целый день.

Спасибо тебе, Север, за науку,
за то, что оценила я ее,
за то, что подавляло боль и муку
безжалостное мужество твое.

Друзья мои, не оставляйте
меня наедине со мной,
с любовью странною, с напастью,
с невыносимой тишиной.

Но средь всего, что есть, что было,
средь ада,
рая посреди,
среди всего другого мира
возникла тундра впереди.

Когда отчаюсь, я уеду,
я там приют себе найду,
и суету забуду эту,
«и никого не прокляну».

И разве только будет в жизни
палатка в дальнем далеке
и спецтрава от ревматизма
над печкой, в толстом пузырьке.

Старик якут в оленьей шубе,
старуха с трубкою кривой,

и строганина в миске грубой,
олень с рогатой головой...

Пусть остаются в тихом тленье
в твоих столах, в шкафах пустых
картонные твои олени
на фотографиях чужих.

Мои друзья со мной.
Неправда,
что это был всего момент,
когда кустарно и нескладно
нас укрывал один брезент.

Нет, нет. Иначе бы не стала
теперь так рваться я туда,
давно бы сниться перестала
оленья торная тропа.

* * *

Как хорошо бы не давать отчета,
не знать, о чем душа моя грустит,
хотелось бы неясного чего-то,
но ясный ум ничто не замутит.

Я поднялась по лестнице на пятый.
Открыты клавиши.
Готовы.
Ждут.
Играй.
Я не пойду сегодня на попятный,
пусть горе перельется через край.

Внизу я вижу тополек дрожащий,
светильник с бледным, вымокшим лицом,
а где-то за углом, чуть-чуть подальше...
нет, никого не видно за углом.

Ты говоришь, там место силуэту.
Фантазии тебе не занимать,
ты видишь то, чего на свете нету.
Мне никогда подобного не знать.

Я вижу то, что только есть, что только
невыдуманно может жить и цвести,
что я хочу отчаянно и горько
любить, любить, пока все это есть.

* * *

Какой любви исполнена печаль!
Случайный звук и дуновение ветра
былую боль напомнят невзначай,
но эта боль теперь светлее света.

Не плакать, нет.
Не насмехаться, нет.
Но ощутить с первоначальной силой
тот вечер, первый,
первый тот рассвет,
когда могла любить и быть любимой.

И даже запах старого пальто
Таит в любой из сокровенных нитей
все милое, все грустное, все то,
что остается от больших событий.

Как хорошо, что были рождены
и что живем и знаем, что мы жили,
что были удивительно нежны
и нежности с годами не изжили.

Люблю простое — травы, небеса —
не потому, что мне оно служило,
не потому, что радует глаза,
а потому, что это вечно живо,

что в этом есть глубинный смысл
любовь,
который от себя не отпускает,
что девочка с балкона над людьми
игрушку на веревочке спускает...

И чем заметней надо мною власть
твоя, зеленый маленький листочек,
тем ближе к жизни хочется припасть,
и жить, и жить, благословив
источник.

И в памяти любимый человек
таким родным и радостным предстанет,
что в сердце, очарованном навек,
еще печальней и светлее станет.

* * *

Когда впервые это поняла?
Ритмично наклоняются деревья,
и к небу прикасаются поля,
и птички прихорашивают перья...

Все было так же каждый божий день,
но почему же я не замечала?
Я проезжала мимо деревень,
и мимо городов я проезжала...

И мимо жизни я бы пронеслась,
не признавая никаких барьеров,
но ты...
Так вот откуда эта власть
воды и неба, солнца и деревьев!

О, как я понимаю этот хор,
то черный он, а то чрезмерно белый,
то ниже трав,
то выше синих гор,
то чувственный,
то легкий и бестелый.

Кругом лишь жизнь,
одна лишь жизнь кругом.
И в молодом и в старом человеке
все тот же смех, все тот же слезный
ком —
и не уйти от этого вовеки.

* * *

Не стушеваться и не согнуть,
сердечной грусти не избыть.
Любви своей не пересилить,
чужой любви не разбудить.

Каким-то слабым утешеньем
земля и люди предстают
и сверхтактичным отношеньем
отдохновенья не дают.

Приняв громадные размеры,
обрушив звездный дождь с высот,
ни уважения, ни веры
мне не внушает небосвод...

Но миг любви — и я робею,
и небом я покорена,
и страстной нежностью твоею
кругом земля напоена.

Зеленых красок, желтых, синих
о передышке не просить.
Своей любви не пересилить,
чужой любви не погасить.

* * *

Над поселком плывут облака,
зеленеет трава у забора.
Ни особой печали пока,
ни особенного задора...

Отдыхай, отдыхай, человек,
от своей обостренной печали,
ты же знаешь, она не навек
за твоими осталась плечами.

Отдыхай от задора. И он
подводил иногда тебя, видно,
если был ты нередко смешон,
как ворона в перьях павлина.

Но когда отдохнешь, наслаждаясь
этим чувством сплошного покоя,
грянут трубы, в пылу раскалешься,
и начнется большая погоня.

По грязи, по асфальту, по тем
облакам, под которыми лежа

отвлекался от мелочных тем
и от скорбно-возвышенных тоже...

О, настичь, от чего отдохнул,
взять печаль (а за ней не угнаться!)
и тому, на чем ставил ты нуль,
с тем же старым задором отдаться!

А потом, может статься, опять
приютит тебя этот поселок,
где тебе суждено отдыхать
от своих утомительных гонок.

Восходит день.
Я знаю, из чего
он создается, в небе расцветая.
Он из любви!
Недаром на чело
к нему букашка шлепнулась цветная.

Букашка эта знает суть всего
и льнет к тому, что от любви исходит,
что вместе крепко-накрепко свело
листву и ствол, волну и пароходик.

А ночью в гуще маленьких ветвей
большая ветвь скрипит, изнемогая,
в тени — темней,
а при луне — светлей
себя по воле ветра изгибая.

И в тьме ночной, и в ясном свете дня
я все могу и в путь отправлюсь смело.
Преграды только вдохновят меня
А если смерть? —
Воскресну! Не проблема!

* * *

О, эти немые призывы
и оклик любви: подожди!
И тучи идут грозовые,
и льют проливные дожди.

И зелень, клубясь и темнея,
шумит,
и гудит,
и дрожит.
В разбухшем сыром подземелье
червяк растолстевший лежит.

И, в новой стихии освоясь,
хохочет дитя под дождем,
и в лужу заходит по пояс,
и с визгом врывается в дом.

Его перемокшие шорты
на белой веревке висят...
Бросаясь под самые шторы,
какие-то птицы свистят...

К мужьям устремляются жены,
нельзя женихам без невест...
И это кипенье живое
не может вовек надоесть.

Не умирают звуки никогда,
не умирают травы и соцветья,
и крохотная теплится звезда
и входит в неоглядное созвездье.

В бессмертном мире почему и как
над всем, что изменяемо и вечно,
мы встретились и задержали шаг,
два маленьких бегущих человечка?

Два маленьких, которым ровня все:
леса и горы, небеса и реки,
и рыбы голубые, и зверье,
и милые собраты — человеки.

Ага, я знаю, как и почему.
За то и уважаю я Природу,
что, совмещая просто свет и тьму,
она продление дает земному роду.

Я вижу ветви мощных тополей.
И влагою наполненную розу...
Я верю в то, что встреча двух людей
обращена всему живому в пользу.

* * *

Пиликает гармошка за окном.
И отзвуки задорного веселья
напоминают живо о былом
и высекают искорку волненья.

Как трудно я в душе своей храню
совместно с представленьем об игрушках
младенческую розовость мою
и радостную память о частушках.

Как бабы деревенские тогда
у палисадника плясали до упаду...
То шли сюда,
то вычурно — туда,
то с дробью надвигались на ограду...

Дрожала оглушенная земля,
но люди этот пляс не прерывали,
подхватывали на руки меня,
друг другу на руках передавали...

Глаза светились ласковым огнем.
Коль взгляд такой однажды испытаешь,

то будешь вечно тосковать о нем
и никаких замен не пожелаешь.

Не надо мне ни всяких разных благ,
ни замыслов тщеславных исполненья,
но мне б работать, жить и думать так,
чтоб опаляло пламя вдохновенья.

Чтоб все любить, что можно полюбить,
чтоб не любить, чего любить не должно,
и всякий раз, смеясь, себя ловить
на том, что без частушки невозможно...

Смешав понятия «наше» и «мое»
и разразившись радостью и болью,
всю эту землю с плясками ее
вмещать в себя и заполнять собою.

Была такая сказочная нежность
в начале пробудившегося дня!
Твои глаза, наполненные небом,
лились, как воздух синий,
на меня.

О, временное легкое явление!
Явление — миг,
блеснуло — раз! — и нет!
С тех пор все время
странное волнение
в меня вселяют воздух и рассвет.

Я признаю
прохладный ответ снега,
робею, глядя в чистые листы,
но все равно я думаю, что небо
есть воплощение высшей чистоты.

* * *

Тишина от конца до начала,
ночь и ночь от доски до доски,
да мелодия вдруг зазвучала,
как предвестье какой-то тоски.

Но чем ближе она подходила,
все роднее, дороже звуча,
тем заметней заря восходила —
и светлело лицо скрипача.

И прелестное утро вставало
или только готовилось встать.
И студент закрывал готовальню.
И глаза закрывал, чтобы спать.

ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

1

Ты не помнишь меня и не слышишь,
и душа у тебя не болит.
Над верандой по шиферной крыше
дождь ночной равномерно шумит.

Но в глаза мне по-прежнему светит
белый день, и прощанье с тобой,
и горячий рассыпчатый ветер,
проникавший во взгляд голубой.

Затопи же меня, ледяная,
дождевая большая вода,
за тобой — ни предела, ни края:
города, города, города...

За тобою несбыточный поиск
и остывшие рельсы путей,
по которым зелененький поезд
вез счастливые рожи детей.

О, залей ты меня с головою,
чтоб и это не вспомнилось мне,
перемешанной с мокрой травой
на каком-то неведомом дне.

И пусть наивный этот возглас
разбудит город, песнь трубя,
взовьется к звездам,
канет в волны:
— Не мыслю жизни без тебя!

И от него погаснет небо,
о солнце лопнувшем моля,
и от него лишится хлеба
дотоле щедрая земля.

И от него затихнут волны,
теряя силу, свежесть, мощь,
и с этим воплем, с этим стоном
я встречу голод, жажду, ночь.

И пусть мне реквиемом будет
то, что кричала я скорбя,
пусть хором повторяют люди:
— Не мыслю жизни без тебя!

ВЕНЦЕНОСНЫЙ ЖУРАВЛЬ

Бросив игры неинтересные,
позабыв чиполлин, колобков,
этикетки цветные, прелестные
я любила сдирать с коробков.

В тесном ящичке свойства несносного
(не нашла я им лучше жилья)
я ценила средь них венценосного,
феерического журавля.

Мыли в доме хозяева дружные
перед бурным приходом весны,
вместе с хламом, с вещами ненужными
этот ящик в ручей отнесли.

Волны мягкие были, не страшные,
прокатить обещали везде.
Он себя не заставил упрашивать
и поплыл по весенней воде.

С городами, с зелеными пущами,
с целым миром цитат и идей



и с призывом к родителям будущим:
«Прячьте спички от малых детей!»

Мир бы ящичку в плаванье длительном,
коль себя возомнил кораблем,
но уплыл он с моим удивительным,
с венценосным моим журавлем!

Не кредитки, не индульгенции.
Но в сто крат до безумия жаль
той единственной детской коллекции
и тебя, венценосный журавль.

КОЗЛЕНОК БЭК

Решив немного порезвиться,
развеять все, над чем скучал,
козленок Бэк стучал копытцем,
весной в завалинку стучал.

Он вызывал на поединок:
— Иду на вы.
Козленок Бэк.
Со мной, бегун непобедимый,
он начинал весенний бег.

Вдоль изгибающихся речек,
мелькая быстро тут и там,
едва одетый человечек
бежал с козленком по лугам.

Спустя года, в купе вагонном
я вспоминала этот бег.
Я ехала к местам знакомым,
в которых жил козленок Бэк.

Близ полотна, уставив в поезд
сомнамбуличные глаза,

лежала в философской позе
довольно старая коза.

Она исчезла очень скоро,
но я слышала:
— Вернись!
Там, в основном, теперь коровы,
а козы все перевелись.

Но я довольна чувством тонким,
нововведенья не горьки:
там не с козленком, а с теленком
теперь бегут на обгонки.

* * *

Тот сельский клуб был очень стар,
и в нем, в соседстве крыс,
без применения стоял
рояль в тени кулис.

Он принужден был подавлять
свой голос без следа.
И крышку черную поднять
хотелось мне всегда.

Хотелось звукам дать исход,
впустить их в мир земли.
И вел в тот клуб подвальный ход,
и я решилась — и...

Поймали.
Красный от стыда,
отец слова ронял:
— Зачем полезла ты туда?
— Но там стоял рояль!

В КРАСИЛЬНЕ

Многие ткани цвета изменяют охотно,
Иные спокойны и сделаны сразу
доботно,
Другие трепещут, как золотые осины.
В красильне...
Не осень ли я наблюдаю, ее превращенья,
Мою золотую, ушедшую без
посвященья,
Без долгой любви,
Без всплесков отчаянья сильных...
В красильне...
Пар поднимается, пахнет пар
анилином,
Кофты лежат, сродни облысшившим
долинам,
Вот-вот — и начнется шекспирова
зимняя сказка...
О чем горевать? Ведь это же
только окраска!
Окраска!
А знаешь
Как сильно ты к ней привыкаешь,
Не можешь расстаться,
Упорствуешь, не понимаешь...
Но по закону природы, и жизни, и света
Всем и всему суждено изменение цвета.

Оставь же мне, время,
Уже не любовь (не прошу я,
Как просят подростки, единственную и
большую),

Но ты мне оставь
Цвета моей милой России.
И я успокоюсь.
И с миром уйду из красильни.

ПЕРВОЕ С ПОСЛЕДНИМ

Первый снег с последнею листвою:
вперемешку падает на землю.
Для меня их синтез не простой,
он сродни насыщенному зелью.

Черных гор осенний чад густой
перекрыт блестящим белым снегом.
Чистота плюс прелый сор гнилой —
так зовется первое с последним.

И распад отжившего мне мил,
как начало нового волненья,
если ясно, что любовь, и мир,
и природа — это обновление.

В первый раз последнюю любовь
ощущаю так свежо и смутно.
Первый снег с последнею листвою
нескончаем в это утро.

АМУРСКИЕ ВОЛНЫ

С тех пор, как махнула рукой
тебе немо:
В слезах налетая на столб,
С тех пор прорвалось почерневшее
небо —
И грянул всемирный потоп.

Вдали, за горою, встают Вавилоны,
Но тонут с ней вместе, с горой.
Амурские волны,
Амурские волны
Окатывают с головой.

Прощай, мое счастье!
Прощай, моя воля!
Неволя, ты тоже прощай.
Амурские волны,
Амурские волны
Мостишки срывают со свай.

Домишки с плетнями, с пшеничной соломой,
И множество ферм со скотом,
И тес разбухающий, дряблый и мокрый, —
В водовороте одном...

И нет ни горы, ни лесов, ни
опушки —
Вода, и вода, и вода...
Такая стихия с моей раскладушки
В моем представленьи видна.

На самом же деле — покой и
прохлада,
Сырая сибирская ночь,
Знакомые мягкие складки халата,
Домашние тапки и проч...

И где-то чуть слышно, почти что
невольно
Играют задумчиво вальс...
Амурские волны, амурские волны,
Представила глупо я вас.

Ведь как мне хотелось нырнуть,
захлебнуться,
Увидеть гремящий поток,
Увидеть стропила, и крыши, и прутья,
Которые он поволок...

Но крепко леса ухватились корнями
За кровную землю свою,
И каждый домишко, сверкая
огнями,
Во всю торжествует: стою!

И что им до этой кручины до черной,
Которая властвует мной!
Земля за века свои стала ученой,
Но все же осталась землей.

Да как же и быть ей, сердечной,
иначе,
Какого ей бедствия ждать?
Пока мы теряем, покуда мы
плачем,
Ей надобно жизнь продолжать!

ИСПОРТИЛАСЬ ПОГОДА

Испортилась погода:
такое время года,
осень, осень кругом.

Я тоже стала хмурой,
печальной и понурой:
осень, осень кругом.

Но вот идут знакомые,
заботами влекомые,
идут, любопытством паля:

— А ты скучнее стала,
как будто бы устала,
с трудом мы узнали тебя.

Быть может, ты болеешь,
иль денег не имеешь,
иль Мишка ушел, живодер?

Скажи! Молчать не гоже.
Мы вылечим, поможем,
а Мишку мы назад приведем!

И проклинали холод,
и порицали город.
— Может, тебе надо в село?

Такое время года.
Испортилась погода,
испортилась погода,
только и всего!

* * *

Когда любовь изжита из души,
Когда друзей осталось очень мало,
Когда все люди равно хороши,
Я вспоминаю робко:
Мама... мама...

Как голый куст холодною порой,
Как стебель, почерневший от мороза,
Как лист последний травки полевой,
Как колесо отставшего обоза,

Я одинока:
Я совсем нема
В своей печали,
Неизбывной самой.
Я вспоминаю только это: ма...
Я добавляю только это: мама...

Когда в ненастный час в твоё жильё
Девчонка стукнет, стряхивая морось,—
Пусть не я, но обогрей её,
И приюти,
И помоги, чем можешь.

Пусть остается щедрою рука.
И ты для той, случайной, гостью делай
Все, в общем, то, чего еще пока
Для дочери твоей никто не делал.

* * *

В снегу дома подслеповатые,
и в низких окнах огоньки.
Следы мороза косолапые
для этих окон велики.

Ах, деревушка, деревушечка!
Хоть низковата, но крепка,
как плотно сбитая кадушечка
из доброго из погребка.

Твои солености, копчености,
твой огонек и твой уют
той косолапой кособокости
очарованье придают.

Планета маленькая кружится,
В азарте не считая дней,
И Тихий океан, как лужица,
Переливается на ней.

Мелькают бугорки хребтовые,
Мелькают вмятинки долин,
Мелькают городки портовые,
По пояс уходя в жасмин.

Летают по орбитам спутники,
Поддерживая телесвязь,
И пешие шагают путники,
К местам излюбленным стремясь.

Бегут составы желтоглазые.
Тысяченожки, в добрый путь!
Дороги наши, хоть и фазные,
Но нас сведут когда-нибудь.

Так что же ты с тоской окольной
В глаза заглядываешь мне
Перед разлукою огромною
На этой крошечной земле?

ПЕРВОЕ НЕБО

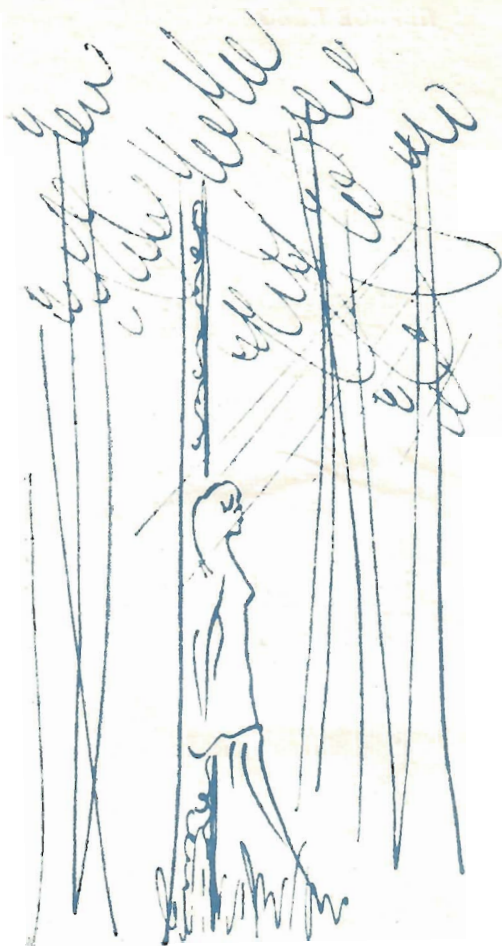
За тихой деревнею нашей
вставало сиянием синим
небо над синею чащей
большого лесного массива.

Но все мы живем зачастую
не там, где когда-то росли.
Играют ребята простую
песню о странах земли.

И ты мне струною дрожащей
напомнилась смутно и странно,
небо над синею чащей
шумящего океана.

Идем дневным и полночным,
похожим и сложным путем,
сначала поодиночке
и двое — уже потом.

И в этой дороге нашей
мне вспомнилось ярко и нежно



небо над синею чашей,
над синею чашей безбрежной.

Меняется небо, рассеяв,
собрав себя самого,
но ты со мною, как сердце,
первое небо мое.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Киселев. Мир Любы Никоновой</i>	5
Родина	9
Бубенцы	10
Ностальгия	12
Мост через Самарку	14
«Уходит в Тотьму пароход...»	16
«Девяносто двух телят пасу в низине...»	18
«В цветении акации есть прелесть...»	19
Станция Аксеново	20
Несостоявшаяся поездка	22
«Бабушка, вы помните меня...»	23
Частокол	25
Колокол	26
Загадка Гамлета	27
Тир	29
«Когда началось это странное действо...»	31
Лиса	32
«Окончен день. На всем лежит усталость...»	34
«...И вновь нависла хмарь над лесом...»	36
«Как терпкие и горькие настои...»	38
«К окошку, к шторе опущенной...»	39
«В вечернем воздухе так пристально...»	41
«Проснулась я от качки...»	43
«Скоро, скоро цветы зацветут...»	45
«Зазеленел и пробудился лес...»	46
«Это время придет и законы свои...»	48

Утешение	50
«Там, где веселые царит...»	52
«Не все в этом вечере гладко...»	54
Прекрасные мелодии	55
Цыганочка	57
Казачок	59
Мальчик со скрипкой	62
Два марша	64
Оркестр играет Чайковского	65
Соната	67
«Осенний день...»	69
Шедевры	71
Стрекозы	72
Бездомный кот	74
«Пока что бессмысленно бредить травой...»	75
«Взошли цветы, поля зазеленели...»	76
«Ты напрасно боишься...»	77
«Зачем так печально, когда я дремала...»	78
«Я не могла тогда еще отвлечься...»	80
«Друзья мои, не оставляйте...»	82
«Как хорошо бы не давать отчета...»	84
«Какой любви исполнена печаль...»	86
«Когда впервые это поняла?...»	88
«Не стусеваться и не сгинуть...»	90
«Над поселком плывут облака...»	91
«Восходит день. Я знаю, из чего...»	93
«О, эти немые призывы...»	94
«Не умирают звуки никогда...»	95
«Пиликает гармошка за окном...»	96
«Была такая сказочная нежность...»	98
«Тишина от конца до начала...»	99
Из старой тетради	100
«Ты не помнишь меня и не слышишь...»	100
«И пусть наивный этот возглас...»	101

Венценосный журавль	102
Козленок Бэк	105
«Тот сельский клуб был очень стар...»	107
В красильне	108
Первое с последним	110
Амурские волны	111
Испортилась погода	114
«Когда любовь изжита из души...»	116
«О жизнь! В который раз пути твои...»	118
«В снегу дома подслеповатые...»	119
«Планета маленькая кружится...»	120
Первое небо	121

Никонова Л. А.

Скрипичный ключ. Стихи. Кемерово,
 Н36 Кемеровское книжное издательство, 1974.
 128 стр. 7000 экз. 34 коп.

Умением по-новому взглянуть на примелькавшийся
 жизненный факт, открыть необычайное в обычном, ска-
 зать просто и убедительно о сложных человеческих вза-
 имоотношениях отмечены лучшие стихи первой книги
 студентки из Новокузнецка Любви Никоновой.

Н $\frac{0742-21}{M145(03)-74}$ —28—74

P2

Любовь Алексеевна
НИКОНОВА

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

С Т И Х И

* * *

Редактор *Т. И. Махалова*
Художник *И. А. Першина*
Художественный редактор
Г. И. Кравцов
Технический редактор
Г. В. Адова
Корректор *Е. И. Тимощук*

Сдано в набор 22.XI. 1973 г. Под-
писано к печати 6.III.1974 г. Бу-
мага типографская № 1. Формат
70X90¹/₃₂. Усл. п. л. 4,68. Уч.-изд. л.
3,15. Тираж 7 000. ОП 00 238. Заказ
10640. Цена 34 коп. Кемеровское
книжное издательство. Кемерово,
Ноградская, 5. Полиграфкомбинат.
Кемерово, Ноградская, 5

34 коп.

КЕМЕРОВО 1974

Abstract wavy lines in black and white, resembling stylized waves or a decorative border, located at the bottom of the page.